

*“Там никого не бросят. Бог всех, кто к Нему приходит, любит и оберегает”. Теперь Витька был доволен. Он заработает столько, чтобы и сестрёнку Бог полюбил.*

Е. Тулушева.

Кажется, во все языки мира это русское слово так и вошло непереводаемым *Perestrojka* – слишком русским было само явление: строить, строить, а потом вдруг увидеть, что дом-то за годы строительства уже будто и позабыл, для чего создавался. Или жильцы переменялись, и всё стало не по ним. Ну, и взяли да, потоптавшись в “застое”, и решили всё переделать из старого в новое. Старое некоторое время противилось, а новое или путалось, или норовило перевести на русский готовые чужие образцы и говорило “с акцентом”.

А в тени и свете, раздражении и красноречии, “пересиживании” одних и наступлении других росло новое поколение. Росло, как трава, – “взрослым” было не до него. И вот незаметно ему оказалось тридцать лет. Не знаю, как для других народов, а для русского сердца возраст тревожный. Пушкин в конце шестой главы “Онегина” в смятении вопрошает: “Ужель мне скоро тридцать лет?” Но уже в следующей строфе, оглянувшись на всю череду внешних случайностей жизни, видит, что у Бога случайностей для гения нет, и позади – спящая ясная даль, и всё неукоснительно сходится к осознанию полноты: “Так, полдень мой настал...” Может, в тридцать лет это и было сказано в России только однажды.

И вот я вчитываюсь в сегодняшних тридцатилетних с волнением и надеждой – настал ли их полдень, ведь это они определяют лицо сегодняшней литературы. Им, нынешним “нулевым”, было труднее, чем до них “шестидесятникам”, входившим в литературу с молодой отвагой и сознанием единства поколения. И труднее, чем “восьмидесятам” (термин, сочетающий календарь и брань, принадлежит представителю этого поколения Юрию Арабову). Он звал этим именем эгоистических авторов восьмидесятых, которые, по слову писателя, развинчивали словарь до такой степени, что уже нельзя было понять, “от какого болта эта гайка”. Они много успели тогда, приготовив явление “постмодернизма” и острое ощущение конца истории. И хоть сами тайно

тосковали по утраченному единству, но уже могли только “развинчивать”, мстя словарю и жизни, словно их втянули в историю силой.

Материя жизни истончилась и засквозила метафизикой, нравственно полегчала, стала послушна однодневным призывам жить “здесь и сейчас” и владеть “всем и сразу” – поэтика старая, а герои уж давно мучаются вполне новым временем, не понимая причин своей муки.

О чём, бишь, я? Когда о рассказах-то Тулушевой? Да это я о рассказах и говорю, таких горьких – хоть не дочитывай, потому что в каждом на глазах погибают дети. Ну, а перестройка-то причём? А вот при том, что тот же Александр Сергеевич ещё в стихотворении “Из Пиндемонта (“Недорого ценю я громкие права, // от коих не одна кружится голова...”) вычёркивал строки: “При звучных именах Равенства и Свободы, // Как будто опьянев, беснуются народы”. Вычёркивал, очевидно, потому, что ему ещё казалось, что такому предупреждению не время. Но – гений же и русский же человек! – наперёд видел, что однажды этот зачёркнутый стих проступит из черновика. И вот теперь мы “постарались” – теперь уже время, потому что, когда “беснуются народы”, остаются без присмотра дети, которых тотчас уловляют расчётливые молодцы от наркотического рынка.

Рассказы Елены Тулушевой об этом – о грани бессилия и безразличия, грани чужой и своей истории. Мы скрываем от себя эту страшную действительность и прячем глаза от статистики, по-детски надеясь, что не скажешь и, авось, оно само и уйдёт. И не надо будет загораживать от детей спиной страницы невыносимых книг, чтобы нечаянно не подтолкнуть их в гибельную сторону. Не напишешь, заслонишь – и вроде как не будет. Как Андрей Битов когда-то говорил о “вине” Достоевского, написавшего “Бесов”. Не написал бы их такими “беспокойно умными”, их бы и не было, а был бы один уголовный случай в подворотне. А только уже прочитанного не спрячешь. Останется занозой и обострит зрение. Выйдешь вечером из дома посидеть в тишине на берегу Великой или Псковы, а уж нет-нет под ногами – и шприц. Как укол в сердце.

И сразу перестройка-то “ломкой” оборачивается. И, закрыв последнюю страницу, всё равно не найдёшь покоя. Даже и сами названия рассказов теперь в оглавлении просто так не пройдут. Вроде взяты первые, что под рукой. А лучше не оборачиваться. Ну, что тут глубокого-то? А раздумаешься и не будешь знать, как унять сердце. Это наш с вами “первенец” – эта беременная несовершеннолетняя детдомовская девочка накануне родов, и родится ли её ребенок без ВИЧ, которым она заражена, отчего-то вроде и от нас зависит. И это “рядом ходит” наше дитя, может быть, друг нашего сына, у которого “не было пионерских лагерей на три смены и школьных кружков, не было вожатых или других старших, которые бы приглядывали, поддерживали, а были тревожные взгляды мамы, её слезы и папины бесконечные подработки, поиски денег”. Как всеобщее, как горько похоже! И нам решать, как спасти их обоих.

И нам болеть оттого, что мальчик из рассказа “Клад” опасно честен, губит, не ведая того, чьи-то жизни, потому что ему надо крестить сестрёнку прежде, чем оба останутся сиротами, потому что “Бог всех, кто к нему приходит, любит и оберегает”. Он зарабатывает столько, чтобы и сестрёнку Бог полюбил”. А “зарабатывает”, не ведая того, передачей наркотиков.

Время так повернулось, что вот и честность стала тревожна. Раньше-то (помните?) у Леонида Пантелеева мальчик не может уйти с “поста” при игре в войну, хотя про него давно забыли поставившие его мальчишки, потому что он дал честное слово. Мы любили этого мальчика и гордились им. А этого боимся, хотя виноваты мы, взрослые. Простые названия (“Первенец”. “Вместе ходит”, “Клад”), а будто всякое слово наизнанку вывернуто – Адам скрестил эти слова с другими смыслами.

Устанешь иногда от щегольства нынешней прозы, от блестящей однодневности, а только соберёшься махнуть рукой, как на твоих глазах слово опять выходит навстречу боли и подставляет своё сердце, чтобы разбудить и защитить нас, потому что знающий – вооружён. Теперь нам уже трудно будет закрыть глаза и притвориться, что мир благополучен, – полдневный свет не даст.

Время может переодеваться как угодно, искать свободы от идеологии, снимать с себя ответственность за якобы чужое прошлое, перед которым “мы не виноваты”, но нравственный закон всё так же незыблем, и Россия по-прежнему, по слову Рильке, есть “часть суши, окружённая небом”.